

ДИСКУССИЯ

Д. ОРЛОВСКИ: В центре внимания исследований, посвященных революционной России, чаще всего оказываются институции, учреждения, социальные классы, политические партии и т. д. Пять докладов, представленных здесь (это очень хорошие доклады, надо сказать), отказываясь от подобного рассмотрения, выбирают в качестве своих сюжетов индивидуальные опыт и судьбы людей, разделенных революционной вехой 1917 г. В них обсуждается пять тем: образ царского сановника, революционная культура и субкультуры партии эсеров, дневники детей-эмигрантов, беженцев революции и Гражданской войны, безъязычие и отчуждение НЭПа 1920-х гг., доводящие до самоубийства, и, наконец, новое теоретизирование на тему генезиса сталинизма, основанное на опыте лидера рабочей оппозиции режиму на большой текстильной фабрике.

Начну хронологически с доклада А.Ю. Полунова об образе К.П. Победоносцева в среде культурной интеллигенции. В нем удивляет то, что Победоносцев, вопреки историографическим данным, производил весьма положительное впечатление на многих деятелей культуры. Эти писатели и художники, вовсе не питавшие симпатии к самодержавию, находили его прямым, принципиальным, скромным и даже приятным собеседником. Примечательно также то, что Победоносцев, казалось, искал и любил общение с интеллигенцией. Тенденция в русской политической культуре мифологизировать тех, кто ассоциировался с властью, тоже очевидна. Победоносцев изображался бледным, напряженным, болезненным, мертвенным, но и имеющим магические способности, знающим ворожбу. Что же привлекало ведущих представителей российской культурной элиты в этом свирепом противнике индивидуализма? Были ли это его идеи или его власть? Что было важнее в их взаимоотношениях и что это может рассказать нам о взаимном восприятии этих двух миров — интеллигенции и высшего чиновничества позднеимперской России?

Доклад Е.Е. Левкиевской рассказывает о развитии личности в ситуации травмы. Он основан на мемуарах времен революции и Гражданской войны, написанных эмигрантами-гимназистами разного возраста в середине 1920-х гг. Перед поступлением в гимназию их попросили записать свои воспоминания о 1917 г. Гимназисты были представителями бывшей элиты, в особенности служилого дворянства (военные и высшие чиновники), в меньшей степени — выходцами

из гуманитарной и технической интеллигенции, мелкого дворянства, и лишь отчасти — представителями низших слоев чиновничества, городских служащих и т. п. Среди всех возрастных групп мы сталкиваемся с накладывающимися друг на друга личной, семейной и русской национальной трагедиями. Левкиевская утверждает, что большинству учеников была свойственна сильная привязанность к семье. Неудивительно, что среди них была развита и сильная приверженность России, ее ценностям и культуре, готовность отстаивать эти ценности перед лицом страшных обстоятельств.

Абстрактная ценность этого доклада заключается в том, что автор пытается вскрыть общие черты, присущие мемуарам. Однако если бы приводимые цитаты были обширнее, это позволило бы проиллюстрировать блестящие выводы работы полнее. Например, автор отмечает общую сюжетную черту этих мемуаров — переход от описания идеального, неземного предреволюционного времени к опыту травмы, а затем — к стабильности эмигрантской жизни (восстановление семьи, образования, церкви, русских ценностей). Хотелось бы узнать об этом подробнее из уст самих детей. Автор, помимо прочего, убеждена в существовании коллективной памяти, национального сознания и культурных моделей, формирующих память; она утверждает, что этот нарратив является травматическим, порожденным травматической памятью и что он провоцирует культурные модели и становится ключевым элементом социализации и формирования индивидуума. Это дает нам важнейший материал для понимания социальной психологии травмированных детей и русской эмиграции. Можно ли распространить то же понимание травмы и ее нарратива на детей других социальных слоев, которых не затронула эмиграция, — вопрос открытый.

Доклады К.Н. Морозова и В.П. Булдакова можно рассматривать вместе. Оба они описывают революционеров, первый — их субкультуры, моральные и этические нормы и образ жизни (в особенности принятый в среде эсеров, но также и в среде других революционных партий), второй — конфронтацию так называемых стихийных большевиков с реальной жизнью во время НЭПа. В центре внимания исследователей — не движение, не партия и т. п., а индивид. К.Н. Морозов пытается определить революционный дух в противоположность программам и деятельности (историческим акциям) партий. В отличие от Булдакова он исследует поведение людей, которые осознанно вступают в революционное движение и принимают писанные и неписанные нормы революционного сообщества. Многие персонажи Морозова из числа тех, кто артикулирует революционные нормы, является лидером, а не рядовым партийцем, что несколько ослабляет его аргументацию. Аргументация же строится на большом временном срезе: с 1850-х гг. и вплоть до окончательного уничтожения революционеров и их субкультур в конце 1930-х гг.

Выскажу некоторые соображения и претензии. Остается неясным, существовала ли единая революционная культура, как утверждает автор, или между культурами эсеров и социал-демократов (не говоря уже о других партиях) были существенные различия и внутри этих партий было множество микромиров с отличающимися ценностями. Что важнее — общая история революционных ценностей или отличия во всем их спектре? Морозов некритично

перенимает описания характера эсера, например, из таких противоположных источников, как материалы ГПУ и эсеровского руководства, в том числе М. Вишняка. Это производит впечатление клише: нерешительные гуманные эсеры, символизирующие русскую интеллигенцию (хотя, казалось бы, он сам отмечает и существование эсеров-боевиков) и фанатичные, упертые, деструктивные большевики. Верно указывая на временные отличия, отмечавшиеся самими революционерами, и проводя параллель между революционерами начала XX в., напоминающими теперешних научных работников, которые оплакивают разрушение сообщества (братства) и традиционных общих ценностей (под влиянием поколения более молодых, тщеславных и материалистически настроенных), Морозов делает несколько ценных наблюдений: революционная субкультура была молодежной контркультурой, а энергия и участие в ней молодежи всегда оставалось ключевым (за исключением 1905–1907 гг. и 1917 г., когда все возрасты объединились с молодежью). Эти молодые люди были часто интеллигентами или студентами, людьми различного социального происхождения, подобно разночинцам середины XIX в. Было бы неплохо найти для этого больше документальных подтверждений, а судьба молодежной контркультуры при Сталине и после тем более заслуживает дальнейшего исследования.

Среди многочисленных достоинств данной работы — сравнение революционных групп с религиозными сектами и преступными группировками, их поведенческие нормы, понятие предательства и справедливости, а также роль революционных судов (зачастую дающих еще меньше гарантий, чем даже царская юридическая процедура) и возможности ухода из группы, каторжная культура, поведение во время допроса. Одно из потрясающих открытий — идея Морозова о том, что на каторге должна была соблюдаться дисциплина, так как существовала опасность утраты революционной идентичности и поглощения общеуголовной культурой. Наконец, Морозов приходит к выводу о том, что власть изменила большевистскую культуру. Октябрь создал новую культуру власти (триумф нечавизма), хорошим примером чего служит большевистская риторика в разгар суда над эсерами в 1922 г.: предательство эсеров не было предательством в отношении их партии, поскольку сама партия была предателем революции.

Как обычно бывает у В.П. Булдакова, его анализ богат и многослоен. Его работа посвящена революционному разочарованию, тому, как революционер утрачивает свою идентичность (личность) после революции. Она о том, что стихийный большевик, захваченный действием, насилием и деструктивной энергией, не в состоянии вернуться к конструктивной деятельности. Здесь важно заметить, что Булдаков не имеет в виду псевдореволюционеров, примкнувших к партии ради личной выгоды. (Кто они, сколько их — тоже важные вопросы.) Он описывает 1924–1926 гг. как водораздел. Людям приходилось или адаптироваться к логике государственного проекта, или продолжать борьбу. Он верно отмечает, что до сих пор мало исследованы психологические и социологические последствия победы революции. Мы знали, что многих членов партии не устраивал НЭП, но связь этого с насилием стала для меня откровением.

Источники Булдакова — это в первую очередь письма к Сталину и литературные произведения. Через эти письма мы вновь соприкасаемся с травмой.

Идентичность этих людей требовала актов насилия, направленных против врагов или, что происходило слишком часто, против них самих (самоубийство — одна из главных тем этого доклада). В чем заключалась травма этих революционеров? Неуверенность в целесообразности НЭПа (хорошо документированная) и смерть Ленина. Всё это рассматривалось как «последняя жертва». По мнению Булдакова, для многих самоубийство было необходимым демонстративным уходом, революционным актом. Булдаков рисует картину неудовлетворенности и болезни, вызванной стрессом, душевной тревогой и сомнительных способов лечения. Это был мир, в котором революционеры обвинялись в уголовных преступлениях, теряли работу и партбилеты. Режим, как мы знаем из работы К. Пинноу, был одержим расследованием этой эпидемии самоубийств и употребил огромные силы для того, чтобы заработали социальные, научные и полицейские механизмы для их предотвращения. Письма призывают к Сталину: «Помогите нам научиться жить в этих непонятных условиях». Общие жизненные трудности для этих революционеров вырастали в онтологическую проблему. По иронии обстоятельств, разговор о суициде в строгих партийных кругах часто приводил к тому, что в адрес говорившего звучали оскорбления, поскольку психическая неуравновешенность связывалась с ненадежностью, основанной на социальном происхождении и других негативных качествах. Эти письма удивительны, в особенности те, в которых просят разрешения совершать террористические акты. Булдаков приходит к выводу о том, что многие революционеры не могли или не желали контролировать свои агрессивные импульсы и что для них этика Гражданской войны оставалась нормой. Подобная деперсонификация в форме сильнодействующей смеси из самообличения, ницшеанской обреченности и поиска вождя, который восстановит правильные цели, дает нам еще одну интерпретацию перехода к насилию сталинизма и к разрушению индивидуума.

Наконец, Мария Ферретти предлагает свою интерпретацию истоков сталинизма. Она использует микроисторию, а именно судьбу рабочего активиста Василия Люлина для теоретического обоснования сталинского режима, сталинизма как формы авторитаризма. Для нее это экстремальный эксперимент западного модернизма. Сталинизм является динамичной и продуктивной парадигмой для компаративного исследования режимов XX в. Сталинизм — это «кризис классического модернизма», который не является чем-то специфичным для России, эта историографическая школа у нас известна. Главная мысль Ферретти — это идея «спирали развития радикализации», при которой режим на требования снизу (сопротивление) отвечает всё большими репрессиями и насилием. Ее аргументация строится вокруг того, что организованное сопротивление конца 1920-х гг. основывалось на легитимных требованиях, взятых из революционного дискурса. Требования рабочих были сформулированы марксистским языком. В качестве примера приводится большая текстильная фабрика (которая, кстати, уже была предметом обширного исследования истории сопротивления конца 1930-х гг. Джеффри Россмана, в котором тоже упоминался Люлин).

Тезис о том, что государственная фрустрация приводит к репрессиям, в чем-то напоминает связь между сталинизмом и крестьянским упрямством у Моше

Левина. Детали в этой работе впечатляют и определенно расширяют наше понимание эпохи конца 1920-х гг., которая обычно рассматривается как время конфликта с крестьянством и общего усиления политической репрессии. К сожалению, мы мало знаем о мотивах деятельности Люлина, в частности, был ли он социалистом. Далее, недостаточно разъяснено место текстильной промышленности в сравнении с более передовыми отраслями. Что может рассказать нам эта текстильная фабрика о реалиях трудовых отношений конца 1920-х гг., в частности о том, насколько глубоко проникало сопротивление в советское общество в целом? Каковы были его реальные возможности при существующей матрице власти и кооптации программ трудящихся государством?

Ясно одно: государство рассматривало любое сопротивление как потенциальную угрозу дестабилизации. История Люлина показывает, что режим не собирався признавать требования рабочих легитимными. Для режима было важно, что его рабочие добровольно участвуют в проекте модернизации, отсюда спираль радикализации. Неуклюжие попытки дискредитировать Люлина только увеличили его престиж. Таким образом, индивидуальная судьба дает возможность по-новому взглянуть на многие значительные социальные и политические явления в русской и советской истории.

В.Ю. ЧЕРНЯЕВ: Обозначенная в названии секции тема «Политические потрясения и самоопределение человека» анализируется в докладах глубоко, с разных сторон и в разных плоскостях:

— это микроистория, где в центре внимания докладчиков полюсно противоположные фигуры: крупный царский государственный деятель Константин Петрович Победоносцев, восприятие его творческой интеллигенцией Серебряного века и мало кому известный ярославский рабочий-большевик Василий Иванович Люлин, вожак протеста рабочих против политики его собственной партии;

— это феномен российского профессионального революционера, проблема его субкультуры, а также внутренне связанная с этим проблема деструкции личности революционера-идеалиста в условиях революционной государственной власти;

— это проблема *ребенок и революция*, становление личности в кризисную эпоху.

В докладе Александра Юрьевича Полунова справедливо отмечено, что интеллигенция, вчитывая в Победоносцева собственные представления о типичном деятеле самодержавной государственности, создавала в общественном сознании примитивно-карикатурный миф о мракобесе, душители мысли. Эпиграммы объявляли его евнухом, роконосцем. «Высокий, желтый, худой и тонкий, как глиста, Победоносцев походил на змею, вставшую на собственный хвост, а круглые роговые очки еще больше дополняли его сходство с гремучей змеей», — рисовал его издатель Иван Сытин, хотя ранее не гнушался прибегать к его помощи¹.

Миф о Победоносцеве далек от реальной личности, интересной своей сложной противоречивостью. Являясь сторонником неограниченного самодержавия, он пытался отдалить катастрофу, подморозив отживший государственный строй.

¹ *Сытин И.Д.* Жизнь для книги. М., 1962. С. 121.

Как консервативный народник-почвенник, романтично привязанный к старому русскому быту, он питал отвращение к западной цивилизации, к ее политическим институтам.

«Дорогой и многоуважаемый», «многоуважаемый и достойнейший», «добрейший и искренно уважаемый», — обращался в письмах к Победоносцеву Ф.М. Достоевский и признавался: «У меня порою мелькает глупенькая и грешная мысль: ну что будет с *Россией*, если мы, последние могикине, умрем? <...> Тем не менее, все-таки, мы должны и неустанно делать. А Вы ли не делатель?»¹. Не вполне разделяя его взгляды, Достоевский, по словам дочери, ценил его патриотизм и честность. Именно Победоносцев согласно воле Достоевского взял на себя организацию его похорон и стал опекуном его детей. Несмотря на занятость, почти десять лет, до совершеннолетия самого младшего, занимался он с ними и отказался от положенных опекуну денег².

Расходясь политически и религиозно, но уважая как истинного христианина, обращался к Победоносцеву за помощью Лев Толстой. По его просьбе в 1898 г. обер-прокурор Св. Синода вступился за сектантов-молокан, у которых детей отобрал ретивый губернатор. Детей вернули родителям³. Это к вопросу о его неперпимости к иноверцам.

В.С. Кривенко, серый кардинал в Министерстве императорского двора Александра III, так вспоминал Победоносцева: «Вся его сухость, скрипучесть брюзжания моментально исчезала при появлении детей <...>. В кругу их становился ласковым баловником-дедушкой. Для них в карманах его поношенного черного сюртука всегда припасены были конфеты...»⁴. Не имея своих детей, Победоносцев с женой удочерили сироту.

Возле Московской заставы Победоносцев открыл в 1889 г. Свято-Владимирскую церковно-учительскую школу при Воскресенском Новодевичьем монастыре. Она готовила учительниц для церковно-приходских школ. Рукводила школой жена Победоносцева. Он помогал ей и был похоронен во дворе школы, у алтарной стены. В 1918 г. большевики школу закрыли. В том же доме на Московском проспекте, 104, она возрождена в 1998 г. как Свято-Владимирская воскресная школа (православный культурный центр при Воскресенском Новодевичьем монастыре). В 2007 г. в ней состоялась Международная научная конференция памяти К.П. Победоносцева⁵, ежегодно проходят юношеские историко-краеведческие Победоносцевские чтения. Приятно видеть на нашем коллоквиуме директора этой школы Людмилу Константиновну Ведерникову.

¹ *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: В 15 т. СПб., 1996. Т. 15. Письма 1834–1881. С. 577, 593, 595 (курсив Ф.М. Достоевского).

² *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 172–173, 206.

³ *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1965. Т. 17. Письма 1845–1886 гг. С. 231.

⁴ *Кривенко В.С.* В Министерстве двора: воспоминания. СПб., 2006. С. 225.

⁵ См.: Константин Петрович Победоносцев: мыслитель, ученый, человек. Материалы Международной юбилейной научной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения и 100-летию со дня кончины К.П. Победоносцева (Санкт-Петербург, 1–3 июня 2007 г.). СПб., 2007. 244 с.

Победоносцеву обязано возникновение в эмиграции феномена матери Марии (урожденной Елизаветы Пиленко), участницы Сопротивления во Франции, спасавшей от нацистов евреев и умерщвленной в газовой камере. С пяти лет Лиза была знакома с ним. Ее обижали карикатуры: «Я любила старческое лицо Победоносцева с умными и ласковыми глазами в очках, со складками сухой и морщинистой кожи под подбородком. И нетопырь с зелеными ушами — это была в моих представлениях явная клевета»¹.

Весной 1906 г. 14-летняя Лиза спросила его: «Что есть истина?» Ответ был: «Истина в любви, конечно, но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему — не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, любовь к дальнему не была бы нужна. Так и в делах. Дальние и большие дела — не дела вовсе, а настоящие дела — ближние, малые, незаметные. Подвиг всегда незаметен, подвиг не в позе, а в самопожертвовании, в скромности»².

Лизу тогда ответ не устроил. Больше они не виделись. Даже не пошла на похороны. Увлечлась марксизмом, затем — Цехом поэтов Н.С. Гумилева, в 1917 — эсерка, в 1918 — заместитель городского головы Анапы. Но в эмиграции ответ Победоносцева предопределил ее судьбу. И в историю она навсегда вошла не как революционерка или поэт. За подвиг самопожертвования она причислена к лику святых.

Параллель между «духовным вождем старой монархической России» Победоносцевым и «духовным вождем новой коммунистической России» Лениным провел лично знавший обоих Н.А. Бердяев. При полярной противоположности их идей он нашел сходство в их «душевной структуре». Оба любили детей и зверей, тепло относились к близким. Но оба презирали иерархию, которую возглавляли: «Коммунистическая государственность у Ленина столь же авторитарна и автократична, как и монархическая государственность у Победоносцева»³.

Доклад А.Ю. Полунова побуждает поставить в дискуссии первый вопрос: в какой мере определенное эмоциональное отношение к государственному строю искажает восприятие государственных деятелей и подталкивает к созданию политических мифов.

Свежим микроисторическим подходом, попыткой через каплю понять море, интересен и ценен доклад Марии Ферретти. Детально, на недоступных ранее источниках она реконструирует жизненный путь Василия Ивановича Люлина, квалифицированного токаря механического цеха ярославского завода «Красный Перекоп». Стремление к справедливости превратило большевика в вожака рабочего выступления против партийной линии ВКП(б), партии, в которой он сам состоял.

Мария Ферретти выдвигает неожиданно интересную гипотезу, которая должна, несомненно, стать предметом дискуссии. Суть гипотезы в том, что протест

¹ Кузьмина-Караваева Е.Ю. Равнина русская: Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма. СПб., 2001. С. 585.

² Там же.

³ Подробнее см.: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания УМСА-PRESS, 1955 г. М., 1990. С. 127–128.

рабочих против партийной линии ВКП(б) стал исходной точкой серии цепных реакций, составивших спираль радикализации. В ходе этих цепных реакций формировалась и утверждалась сталинская практика репрессий как механизм упорядочения общественной жизни и контроля над ней. Дальнейшее исследование крупной и сложной проблемы связи между сопротивлением рабочих внутренней политике советского государства и установлением сталинской диктатуры поможет по-новому взглянуть на болезненную для многих, особенно в России, проблему глубинного сходства и взаимного влечения сталинизма, итальянского фашизма и германского национал-социализма¹.

Всплывают для дискуссии и не менее важные вопросы о причинно-следственной связи между Октябрьской революцией и сталинизмом и между отказом КПСС от кровавых крайностей сталинизма и провалом большевистского коммунистического эксперимента, начатого в 1917 и завершенного в 1991 возвращением к буржуазному строю.

Проблема профессионального революционера разносторонне рассмотрена в докладах К.Н. Морозова и В.П. Булдакова. На примере Партии социалистов-революционеров Морозов показывает феномен и парадоксы сложно структурированной субкультуры российского революционера, психологии и морально-психологического состояния исследуемого социума. Это побуждает поставить в дискуссии ряд вопросов. Не в субкультуре ли этих революционеров зрели эмбрионы Лубянки, ГУЛАГа, бесчеловечного утопического режима?

Профессиональные революционеры в любой момент готовы были жертвовать своей свободой и жизнью. Не в том ли причина легкости, с какой они, взяв государственную власть, отказались от общечеловеческой морали во имя утопической цели и политической целесообразности; внедрились в партийно-государственное управление традиции и приемы уголовного мира, усвоенные в «тюремно-каторжных университетах». Свойственная революционным подпольщикам параноидальная боязнь провокаторов в своей среде — не в ней ли истоки готовности видеть в каждом несогласном провокатора, врага народа и легкости, с которой лишали свободы и жизни сограждан и друг друга.

Вырождению типажа профессионального революционера после взятия власти большевиками посвящен доклад В.П. Булдакова. Это вырождение, как показано в докладе, проявлялось в самоубийствах, маниакальной подозрительности, психозе безысходности, пьянстве. Более того, возникало стремление к тотальному насилию и его сосредоточению в руках государства. Данное наблюдение Булдакова подтверждают наблюдения в докладе Марии Ферретти. На дискуссию рассчитан и его вывод: «Революционер-идеалист изначально представляет собой деструктивный тип».

Специфика формирования у детей идентичности в эпоху Революции 1917 г., Гражданской войны и начального этапа послереволюционной эмиграции анализирует Е.Е. Левкиевская. Ее доклад основан на анализе школьных сочинений детей и подростков из эмигрантских семей, написанных в 1923–1925 гг. в Турции, Балканских странах и Чехословакии. Эти сочинения позволяют судить

¹ Об этой проблеме см. кн.: *Ганелин Р.Ш.* СССР и Германия перед войной: отношения вождя и каналы политических связей. СПб., 2010.

о травматической, отчасти деструктивной социализации детей и подростков. Большевистская жестокость в отношении родителей, гибель близких, утрата родины, другие суровые испытания болезненно ускорили взросление. Резкое снижение социального и материального положения семьи вызывало ностальгию о «потерянном рае» и предопределяло формирование политических убеждений. Докладчица выявила, в чем различия социализации мальчиков и девочек, как тяжелый жизненный опыт влиял на зрелость суждений, как нормы, усвоенные от родителей, превращались в осознанные убеждения.

В исследовании Е.Е. Левкиевской показано, как в условиях политической и национальной катастрофы формировалась личность школьников, чьи зрелые годы пришлись на Вторую мировую войну. Наблюдения и выводы ее доклада помогают глубже понять мотивы отношения эмигрантов в годы Второй мировой войны к родине, отнятой большевиками. Большинство эмигрантов, увы, не могло сочувствовать борьбе Красной армии с нацистской Германией.

П.Г. РОГОЗНЫЙ: Хотелось бы несколько слов сказать о Победоносцеве, о том, как его любили или не любили. Представляется, что довольно значительная часть церковной интеллигенции, профессура духовных академий, священники положительно к нему относились, потому что у них с Константином Петровичем были общие «враги» — архиереи и, возможно, будущий Патриарх.

К.П. Победоносцев был противником введения патриаршества, как и значительное число церковных интеллигентов, он считал, что Патриарх — это еще один громадный деспот, которого контролировать невозможно, а власть епископата еще более усилится, и всё это самым негативным образом скажется на рядовом духовенстве. Образно говоря, обер-прокурор может быть независимым и стоять над схваткой, а Патриарх как представитель черного духовенства всегда будет принимать сторону епископата. В свою очередь, епископы будут ругаться между собой, как, по словам самого Победоносцева, это было в XVII в.

Несомненно, в чем-то он был прав. Если Поместный собор 1917–1918 гг. выработал в целом демократическую концепцию развития Церкви с «выборным началом», то впоследствии благодаря советской власти и патриаршеству победила авторитарная модель, и сейчас никто не знает, как назначают епархиального архиерея или почему один священник получает доходное место, а другой нет.

Напомним об одном курьезном эпизоде из литературы, имеющем непосредственное отношение к Победоносцеву. Это публикация переписки одной женщины. В ней нет ничего значительного, но у нее муж, как она пишет, служил в Синоде под руководством «незабвенного К.П.». И она описывает в письме к своей родственнице в 1929 г. жизнь вдовы Победоносцева в год «великого перелома». Она жила в большой нищете — вроде бы ничего значительного, но удивителен комментарий современного историка: «К.П. — неустановленное лицо».

Н.В. МИХАЙЛОВ: По докладам К.Н. Морозова и В.П. Булдакова у меня есть вопрос: ощущается ли какая-то разница в позициях, в субкультуре представителей тех самых носителей индивидуального сознания, прежде всего революционной

интеллигенции, и тех выходцев из рабочих, которые в эту культурную революционную среду вошли и которых можно квалифицировать как профессиональных революционеров или участников этой самой культурной среды?

Больше всего меня заинтересовал доклад Марии Ферретти как по содержанию, так и по методике. Методика, которая здесь продемонстрирована, акцентирует внимание на изучении фабрично-заводской среды, что позволяет рассмотреть рабочую проблематику на уровне личности, на уровне человека, на уровне взаимоотношений, на уровне эмоций. Это совершенно другая точка зрения, которая дает возможность понять многое такое, чего другим способом понять нельзя. В этом, я думаю, одно из главных достоинств исследования.

Рассмотрение под таким углом зрения взаимоотношений партии, власти и человека дает чрезвычайно интересную, очень сложную и неоднозначную картину, причем многие наши представления, сформированные советской историографией, проверки этим методом, которым пользуется Мария Ферретти, не выдерживают. Появляется также масса совершенно новых вопросов, которые требуют, конечно, дальнейшего изучения и на более широком материале.

Исследование М. Ферретти показывает, что партия, на которую мы всех собак готовы сейчас повесить и которых она раньше сама на себя вешала: партия всё знала, всё предвидела, как, куда вела и направляла, — вот эта партия на уровне завода оказалась бессильной, и с рабочим вожаком Василием Люлиным на заводе в 1929 г. она сделать еще ничего не может. А в 1930 г., и это момент переломный, уже может. Развитие определенного этапа рабочего движения, начатого в 1917 г., на рубеже 1920–1930-х гг. заканчивается, и это М. Ферретти замечательно показала.

На мой взгляд, в докладе недооценена роль коллектива. Ведь этот самый Люлин — не просто выдающаяся личность, а это рабочий вожак. Он, конечно, вышшеается над остальными рабочими, но он и представляет интересы коллектива, его защищает и в то же время опирается на его поддержку. Без поддержки коллектива вообще трудно представить, чтобы Люлин в индивидуальном порядке, просто как человек, которому захотелось отстоять какую-то точку зрения, смог бы что-нибудь реальное сделать. Люлин выступает посредником между рабочим коллективом и теми представителями властей, которые в этой истории задействованы. Проблема коллективной личности в этом контексте тоже должна быть представлена.

Привлеченный М. Ферретти материал совершенно определенно свидетельствует о том, что рабочие имели свои собственные представления, отличные от тех представлений, которые пытались им навязать или выдать за свои партия и государство. Именно микроисторический подход позволил автору выявить оригинальные взгляды рабочих, которые лежали в основе рабочего протеста, и показать, что эта история развивалась не просто под руководством партии, а в процессе сложных взаимоотношений с рабочими, которые в первое после-революционное десятилетие еще могли оказывать существенное воздействие на реальную ситуацию.

Полагаю, что заслуживает самого пристального внимания и вывод М. Ферретти о том, «что установление сталинской диктатуры было конечной точкой

развивавшегося по спирали и становившегося все более радикальным политическим и социальным конфликтом, вызванного глухим сопротивлением рабочих (и, шире, всего общества) тому проекту модернизации, который навязали стране большевики».

У. РОЗЕНБЕРГ: У меня несколько небольших замечаний и один более серьезный вопрос. Во время сегодняшней утренней дискуссии никто не затронул тему *позитивизма* как концепта, который определил логику понимания всего развития XX в., т. е. развития прогресса в широком смысле слова. Французская революция, отталкиваясь от идеи разума или рациональности человека, возвысила идею позитивизма в его политическом значении. Личность значима в том смысле, в котором человек знает, что он делает и почему, как человек разума (что, впрочем, не обязательно понимается как образованность) — именно такой человек способен быть действующим лицом в политическом процессе.

В рамках такого подхода наука выступает как источник рациональной мысли, однако вне связи с традицией, церковью или религией. В этом — значительная разница в понимании личности в Европе после Французской революции, с одной стороны, и в России — с другой. Хорошо известно, что К.П. Победоносцев прекрасно это понимал и идею участия «простых людей» в государственных делах (в частности, в качестве выборных делегатов в Думу), или, иными словами, демократию, называл «великой ложью нашего времени». Эти «простые люди» не имеют никакого представления о том, что они хотят, и в этом смысле для Победоносцева как демократизация, так и морализация представляли собой подобную ложь.

Однако сейчас, когда мы размышляем о революционной субкультуре, о большевиках и о революционном мышлении, такое представление о людях как о рациональных личностях, имеющих свое собственное «научное» понимание мира, кажется несколько парадоксальным. Революционная интеллигенция прекрасно отдаст себе отчет в том, что наука является источником разума и логики, однако «простые люди», к сожалению, этого не осознают, это их, так сказать, «спонтанное ощущение или знание». Я вовсе не утверждаю, что в данном случае мы имеем дело с бинарной оппозицией, однако хочу подчеркнуть само наличие этого противопоставления: с одной стороны, представление о том, что наука и разум рождаются в обществе, с другой — уверенность лидеров революционного движения в том, что «мы» знаем, а «они» (т. е. «простые люди») — нет.

Когда во время предыдущего colloquium мы говорили о социальной структуре и революционном движении, некоторые отметили, что разговор в основном шел о среднем классе или среднем слое и что только этот средний класс достаточно образован для того, чтобы осознавать свои потребности и действовать «разумно». Несколько парадоксальным, на мой взгляд, является также изменение концепции о том, кто является носителем разума или рациональности: если раньше таким носителем выступала отдельная личность, то после революции эти понятия стали ассоциироваться с социальным слоем, если бы он был неким живым организмом.

В своем выступлении в 1924 г. Троцкий заявил: «Быть правым против партии нельзя». Только партия может быть источником правды и разума. В своем

крайне интересном докладе В.П. Булдаков говорил о простых людях, которые писали письма Сталину в 1924 г. Для меня вовсе не очевидно, что эти люди были политически бессильны, так как они знали, что и как надо делать, однако решали не они — решала партия. Может быть, концепция личности имеет значение в нашей общей интерпретации истории этого периода.

На предыдущем коллоквиуме мы обсуждали исторические и источниковедческие вопросы, связанные с концептами «памяти» и «личности». И, пожалуй, самым сложным был вопрос о том, какие источники и какие версии истории подходят для описания этих концептов. Обращение к вопросу о методологии и ее влиянии на понимание истории крайне важно в контексте разговора об исторической роли личности. Говоря же о субкультуре как об аспекте социальной жизни, которая играет ту или иную роль в формировании личности, мы, таким образом, утверждаем, что субкультура является одним из реальных источников человеческих ощущений. Еще Н.Г. Чернышевский писал о типе «революционного человека», который частично знает, как действовать, — в силу того, что знает, как чувствовать. Эти люди знают, как действовать: у них есть модель того, как это делается.

Однако каким образом мы, историки, можем проникнуть в то, что чувствовало это поколение?

На самом деле всё, о чем говорила в своем докладе о детях Е.Е. Левкиевская, — это тоже часть общественного дискурса, т. е. социальной интерпретации того, «как это было». Подобным же образом можно рассматривать и источники В.П. Булдакова. Он анализировал письма детей к Сталину, однако возникает вопрос, что это были за письма? И это уже вопрос, имеющий непосредственное отношение к архивам. Именно архивисты обычно решают, какие письма предоставить в распоряжение ученых (и следовательно, тех, кто будет потом читать их работы), а какие, наоборот, попридержать в хранилище (конечно, если только они не получают распоряжение не выдавать *вообще никаких писем*, адресованных Сталину, что, понятно, тоже возможно). Если до нас дошла лишь часть писем, то мы как историки теряем возможность сравнить их содержание с содержанием тех, что по тем или иным причинам были утрачены. Если бы все без исключения письма дошли до нас, то задача понимания принципов и процедуры отбора, осуществляемого архивистами (или архивистами совместно с историками) в отношении того, какие письма предоставить в пользование исследователей, эта задача стала бы одной из наиболее важных для историков.

Наверное, нельзя найти ответы на все обозначенные здесь вопросы, однако даже и в этом случае они требуют обсуждения с точки зрения того, как мы понимаем эти типы источников и как мы используем их в нашей работе. Особенно значимо это именно в связи с тезисом о том, что письма дают нам доступ к пониманию личности человека.

Т.А. АБРОСИМОВА: Доклады, представленные на конференции, чрезвычайно интересны. Среди докладов этой секции особо хотелось бы выделить доклад В.П. Булдакова. Достаточно оригинально поставлена проблема. Действительно, мы обычно занимались изучением революционных событий и роли тех или иных

личностей в этих событиях. Фактически не задумывались над тем, что многие из революционеров в дальнейшем были обречены не на счастливую спокойную жизнь, а на необходимость выживать и принимать непростые решения в условиях постоянного стресса. В равной степени это относится к большевикам, пришедшим к власти в октябре 1917 г. Безусловно, это были одержимые люди, непреклонные, уверенные в правильности выбранного пути, готовые на все ради достижения цели. Им, профессиональным революционерам, далеким от государственной деятельности, пришлось стать молодыми руководителями советского государства без опыта подобной работы. Они быстро включились в ситуацию и достаточно неплохо справлялись с новыми обязанностями. Они упорно пытались перестроить, изменить мир любой ценой, не останавливаясь ни перед чем, позволяя себе применение силы. Решительность и жестокость стали поведенческой нормой новой власти.

Как известно, всякое проявление силы исторически ассоциировалось с правом на власть. Крайней мерой в этой ситуации можно рассматривать Красный террор, начавшийся уже через несколько месяцев после взятия власти. Масштабы террора были грандиозны. Например, 2 сентября в «Петроградской правде» сообщалось о расстреле по постановлению ПЧК 512 человек. Смысл этого шага заключался не только в расправе над неугодными, но и обязательном опубликовании списков фамилий расстрелянных. Предполагалось, что это будет держать в повиновении не признающих большевистскую власть. Зиновьев заявлял, что несогласных надо уничтожать. Троцкий подчеркивал, что достигнуть цели можно только железом и кровью. В тот период совершенно очевидно происходит трансформация человеческого сознания, приведшая к обесцениванию человеческой жизни.

Жизни могли лишиться за малейшую провинность. При разборе дел сплошь и рядом допускалось несоответствие вины и наказания. Тюрьмы были переполнены, камеры кишели различными насекомыми, трупы не убирали из камер сутками и т. д. Руководители были информированы об этом. Первые годы советской власти — это хаос, террор, насилие. Можно представить тяжелый груз, который был на плечах людей возглавивших советское государство, которые всё знали и понимали. Совершенно очевидно, что психика многих из этих людей была излишне перевозбуждена и утрачен сознательный контроль. Они находились на грани нервного и психического истощения. И особенно это накопилось и проявилось в годы, о которых пишет В.П. Булдаков. Мне бы хотелось подчеркнуть, что истоки и причины деструкции личности революционера нужно искать именно здесь, в 1918 г.

Н.Н. СМИРНОВ: С большим вниманием прочитал доклады, представленные в секции «Политические потрясения и самоопределение человека». Несомненно, они в полной мере отвечали той задумке, которая двигала организаторами в момент, когда три года назад обсуждалась проблема, которую решает настоящий коллоквиум, — «Человек и личность». Однако, думается, что мы немного уходим в сторону от задуманного. Мы гораздо больше говорим об обществе, о среде обитания, о тех трансформациях, которые происходят вокруг человека, чем о его формировании как личности. Меня порадовали два доклада, которые прозвучали

на этой секции, посвященные, с одной стороны, Победоносцеву, а с другой — типичному представителю рабочего класса, каких были миллионы. Порадовали потому, что именно в них трансформация из человека в личность прослеживается в наиболее полной степени. Думаю, если бы у Победоносцева спросили во время его деятельности, ощущает ли он себя личностью, которая оказывает воздействие на окружающий мир, он вряд ли ответил бы утвердительно.

Когда В.Ю. Черняев комментировал этот доклад, он привел интересное наблюдение по поводу восприятия Победоносцева: личностью для людей, которые впоследствии стали осмысливать вклад, привнесенный им в историю государства Российского, он стал *post factum*.

Точно так же, как если бы рабочего, которого замечательно описала в своем докладе Мария Ферретти, спросили, ощущает ли он себя личностью, способной возглавить движение за свои права, свободу и независимость, сомневаюсь, что он бы ответил, что ощущает себя подобной личностью и причисляет себя к тем вождям рабочего класса, которые могли повести за собой окружающих его людей. Скорее всего, личностью этот рабочий стал в силу того, что начал действовать вопреки складывающимся правилам общежития. Именно в этих обстоятельствах он из «человека» стал превращаться в «личность».

Напомню также, что, когда мы обсуждали эту проблему, я говорил о том, что наиболее показательный пример здесь — эпоха Святополка-Мирского, когда он возглавляет Министерство внутренних дел. Не думаю, что в тот момент, когда государь император одобрил назначение Святополка-Мирского на пост главы Министерства внутренних дел, он мог себе представить, что случится 12 декабря 1904 года. А всего-то прошло — осень и начало зимы 1904 г. И в этот исторически короткий период Святополк-Мирский, который был до того обыкновенным чиновником, для государя императора ничего собой принципиально опасного не представлявшим, вдруг к 12 декабря 1904 г. превращается в личность, безоговорочно признанную и друзьями, и политическими оппонентами. В истории утвердилось определение «весна Святополка-Мирского».

Й. ХЕЛЛБЕК: Представленные доклады крайне интересны. А.Ю. Полунов совершенно правильно сопоставил объяснение негативного отношения к Победоносцеву как к личности и подчеркивание его идеологии «скромных дел, скромных тружеников». Мне кажется, это действительно эффективное воплощение образа крепкого дореволюционного строя, где все соблюдают рамки своего маленького «я». Еще одна личность в докладе обойдена вниманием, это личность государя. Меня интересует, где личность царя фигурирует тут, в общих рамках. Вообще хотел бы заострить внимание на теме «Личность и самоопределение личности в условиях государственных потрясений» именно в этом сочетании: «я», личностное самоопределение человека и государственные потрясения.

В этой связи остальные доклады представляют интерес именно тем, что затрагивают историческую субъективность. Революционное движение интересно также тем, что партии через некоторое время стараются как-то описать свою историю и создать свой исторический архив, обосновать свои представления о путях от настоящего к будущему. Американский историк Фред Конни пишет, что в 1917 г. было совсем расплывчатое понятие о том, кто ты, социалист-

революционер или большевик. Это могло меняться. И только к 20-м гг. Истпарт и другие предприятия устанавливают более жесткие рамки того, кто ты есть. Это могло быть формой притеснения, как Мария Ферретти нам старается объяснить, но это могло служить, тем не менее, и способом укрепления собственного «я». Я предлагаю понятие исторической субъективности как спасение. Спасение человека, отчаянного человека, который фигурирует очень сильно в докладе В.П. Булдакова, который хочет и готов съездить в Лондон, совершить покушение, если только какая-то историческая цель это оправдывает. Это сочетание человеческого «я» с партийной интерпретацией истории в условиях 1920-х гг. представляется интересным.

В.В. ВЕДЕРНИКОВ: Рамки коллоквиума дают возможность посмотреть на одну и ту же проблему с разных точек зрения и увидеть общее в том, что идейно и идеологически разделено. И тут возникают интересные сближения. В частности, мне показалось, что доклад о К.П. Победоносцеве и тема «Формирование революционера» — они как-то странно совпадают. Разумеется, даже внешний облик обер-прокурора — сухая фигура, острый взгляд через узкую оправу черепаховых очков, старомодная бабочка — делали его ярким символом бездушной бюрократии. Именно таким и увидел его И.Е. Репин. Но есть менее известная эскизная зарисовка В.А. Серова, где перед зрителем предстает мудрый, старый и, в общем-то, незлой человек. Не отрицая консерватизма и даже реакционности Победоносцева, следует сказать, что он был достаточно сложной и даже, может быть, трагичной фигурой. Почему же он чаще всего воспринимался как «Кошей самодержавия»?

Мне кажется, что русская и либеральная, и революционная интеллигенция мыслила стереотипами, и эти стереотипы мешали восприятию его личности. Удивительно, что и после отставки в октябре 1905 г. бывший обер-прокурор, который был стар, болен, одинок, по инерции всё еще продолжал восприниматься как опасный противник преобразований. В период работы Первой Государственной думы в прессе появляются сообщения, что Победоносцев готовит ее роспуск. В феврале 1907 г., когда жить ему оставалось менее месяца, пресса заявляет, что именно Победоносцев инициировал ссылку на послушание в Черемнецкий монастырь популярного священника, избранного депутатом Второй Государственной думы Григория Петрова. Вот это мышление стереотипами, догматизм, отсутствие культуры диалога, как мне кажется, и делало русскую революцию столь ожесточенной. При этом сам Победоносцев, оставаясь непримиримым противником социалистических и либеральных идей, испытывал интерес к их представителям. Он переписывался с А.К. Маликовым, революционером-шестидесятником, в конце XIX в. познакомился и вступил в переписку с либеральным общественным деятелем П.А. Дементьевым (Тверским).

Мне кажется, что форма доклада позволяет поставить и вопрос о том, что межпоколенческая разница была не только в революционной и либеральной среде, но и в консервативной среде, потому что подходы к фигуре Победоносцева у В.В. Розанова и С.Н. Сыромятникова разнятся, а это разные поколения консервативной мысли.

Е.Л. ВАРУСТИНА: Хотела бы поделиться несколькими соображениями по докладу Е.Е. Левкиевской. Отсчет жизни от какого-либо события для каждого человека — важная часть его миропонимания и исторической памяти. В юности мы порой не придаем большого значения тем или иным событиям, если они не носят драматического характера, и не исчисляем дальнейшие события в нашей жизни от этой даты. Детство и юность гармонично входят в жизнь человека, не оставляя глубокого следа или рубца в памяти, если крупные явления в обществе, в мире грубо и бесцеремонно не вторгаются в частную жизнь отдельного человека.

Сейчас примером трагического прошлого для многих живущих сегодня россиян могут служить события, связанные с Революцией 1991 г. и распадом СССР. Многие мои сегодняшние студенты университета родились в тот год или годами раньше. Они не всегда помнят конкретные события тех лет, но повторяют часто одну и ту же фразу, знакомую им с детства: «Говорят, что в Советском Союзе до распада было то-то и то-то». Их мировосприятие имеет эту историческую точку отсчета. А поколение моих бабушек и дедушек, рожденных в самом начале прошлого века, вело отсчет от Революции 1917 г. и войны 1941 г. Эти события настолько ярко разграничили, например, жизнь моей бабушки, что, даже умирая в октябре 1993 г. и увидев по телевидению обстрел Белого дома, она произнесла: «Неужели я опять дожидка до новой революции?» Детские переживания, страхи мгновенно всплыли даже в угасающем сознании 86-летней женщины. Это — эмоциональная составляющая моего восприятия актуальности и значимости представленного доклада.

Но не менее важна и другая, эмпирическая, составляющая. Е.Е. Левкиевская, поставив вопрос об исторической памяти о покинутой родине, детских переживаниях и страданиях россиян в изгнании, заставляет задуматься об исторической памяти людей, оставшихся на родине и переживших лихую революционную пору в детстве. Как сказались те события на их дальнейшей судьбе? Не служили ли разрушительные действия русских революций и последующие драматические события толчком к девиантному поведению молодых граждан Советской России в 1920—1930-е гг.?

Почему так силен был страх перед властью у поколения людей, переживших постреволюционные репрессии в детстве? Этот страх порой парализовал сознание, формируя послушных и податливых в управлении людей, не способных на отпор и сопротивление. Многие из них, испытав страдания и беды революционной поры, стали добровольными исполнителями новых ужасающих сталинских репрессий.

Войны и революции заполнили историю России XX в. Три-четыре поколения страны испытали травматические удары судьбы, что не могло не сказаться на их поведении и поступках. Деструктивность поведения людей, переживших в детстве психологические, физические страдания, и ее влияние на исторические события — вот, вероятно, новая тема для исследования, подсказанная данным докладом.

Л. МАНЧЕСТЕР: Хотелось бы задать вопрос А.Ю. Полунову. У нас принято думать, что церковная и светская интеллигенция конца XIX — начала XX в. во

многим противостояли друг другу, опирались на разные системы воззрений. Принято также считать, что источником воззрений светской интеллигенции был Запад. Поэтому у меня вопрос: были ли описания Победоносцева западными журналистами похожи на те характеристики, которые давала ему творческая интеллигенция России? И второй вопрос: было ли восприятие Победоносцева церковными писателями похоже на описание его светской творческой интеллигенцией? Вопрос В.П. Булдакову: Не кажется ли вам, что главное в тех людях, которых вы описываете, — это не то, что они были революционерами, а то, что они были солдатами? Мне кажется, что проблема, которую вы описали, — как жить в гражданском (мирном) обществе нормальной, в их понимании, жизнью, как наладить личную жизнь, — это общая проблема солдат в послевоенном обществе, а не специфически русская проблема.

А. ЩЕРБЕНОК: У Марии Ферретти замечательный доклад, очень интересный, воспринимается как детектив. Но для меня осталось не совсем ясным, каким образом ваш подход позволяет нам переосмыслить историю сталинизма. Саморепрезентация сталинизма как раз и состоит в том, что есть отсталые рабочие, отсталые крестьяне, с которыми идеологически продвинутые коммунисты ведут борьбу. Если мы посмотрим сталинское кино, например фильм «Встречный» (1932) или «Великий гражданин» (1937), то там все эти заводские конфликты 1920-х — начала 1930-х гг. представлены в полной мере. В своем докладе вы меняете полюса оценки в сторону тред-юнионизма, то есть считаете, что подлинные интересы рабочего класса в том, чтобы бастовать и добиваться повышения зарплаты, а «строить социализм» — это эксплуатация их со стороны партии. Это точка зрения, с которой большевики полемизировали, причем совершенно эксплицитно; мы можем соглашаться с ней или с большевиками, но каким образом из переворачивания оценок вытекает новый исторический нарратив?

У меня вызвала сомнение идея о том, что можно объяснить Большой террор как эскалацию конфликтов конца 1920-х. Проблема в том, что Большой террор разворачивается в 1937 г. До этого мы имеем середину 1930-х, когда внутренняя политическая борьба в СССР стихает и в официальной риторике, и в политической практике. То есть загадка Большого террора в том, почему он вдруг возобновился: нет такой линейной зависимости, что с середины 1920-х возрастает сопротивление рабочих, из-за этого возрастает насилие, и всё это достигает кульминации в Большом терроре. Такое линейное объяснение, мне кажется, не работает.

И наконец, хотелось бы больше узнать о заключительном акте исследуемой вами драмы. Когда вы говорите о протестах рабочих, которым вы, очевидно, симпатизируете, вы очень детально описываете, как они самоорганизовывались, кому они давали выступать, кому нет. Но когда речь идет о развязке, вы просто констатируете, что партийцы добились успеха, им удалось заставить рабочих проголосовать за нужного кандидата. Неясно, какую роль в этом успехе партии играло насилие и запугивание, а какую роль играло убеждение активистов, которые, может быть, сумели объяснить рабочим, что их истинные интересы состоят не в том, чтобы добиваться повышения зарплаты, а в том, чтобы строить в СССР

социализм? Я не знаю, можно ли это определить и как, но, на мой взгляд, это очень важная проблема.

Б.Д. ГАЛЬПЕРИНА: Меня удивило выступление А. Щербенка, и я хотела бы ответить вместо докладчика. Рабочие в 1920-е гг. были разные, и большевики были разные. Поэтому говорить о том, что они все там были одинаковые, неверно, и поэтому естественна та тема, которую выбрала Мария Ферретти. Вы говорите, что Большой террор начался в 1937 г., и глубоко ошибаетесь. В первую очередь арестовывали, между прочим, наших коллег, крупных историков. Террор начался гораздо раньше. И те рабочие, те члены партии, которых арестовывали в 1930-е гг., это уже были в основном люди сталинского призыва, другие люди. И если старые большевики и рабочие старые верили в те идеалы, которые проповедовали большевики-революционеры, то члены партии сталинского призыва уже были под прессом новой идеологии, что вполне естественно.

И. ХАЛФИН: В связи с замечанием А. Щербенка по докладу Марии Ферретти, мне кажется, что это принципиальный момент — противопоставление социальной истории и «лингвистического поворота». Само понятие «рабочий» социальными историками рассматривается как данность, как некий объективный факт. Можно смотреть на рабочих как на конструкт марксистской теории. Тот же Люлин задействует определенные клише марксизма. Конечно, он против большевистского руководства, которое может расценить как бюрократившееся. Это опять-таки позиция, которая существует внутри дискурса. Они разделяют общее поле, общий нарратив внутри пролетарского сознания, с противоположными оценками.

На «предателей-троцкистов» и сталинистов середины 1930-х гг. можно смотреть как на противостояние. Но троцкисты и сталинисты разделяют ту же политическую таксономию, тот же политический подход. Я бы предложил следующий вопрос: что все-таки общего Люлин имеет с революцией, с революционным процессом и с официальной большевистской идеологией? И последнее замечание в этой связи: давайте серьезно посмотрим на демократический централизм. Демократический централизм предполагает и демократизм. Конечно, сознательным рабочим полагается высказаться, в этой плоскости они и находят себе место. Не стоит в историографии повторять пасьянс, который сама история давно уже разложила.

А.Ю. ПОЛУНОВ: Мне задано семь вопросов, также есть несколько замечаний, комментариев. Почему мой доклад освобожден от хронологического подхода? Хронология моего доклада — конец XIX — начало XX в. Это Серебряный век русской культуры, который традиционно датируется периодом с середины 1890-х гг. до 1917 г. Отмечалось, что мне стоило обратиться к работам Готье и Зайончковского. Безусловно, мое понимание Победоносцева и его личности во многом базируется на классических трудах Готье и Зайончковского, но, поскольку ни тот, ни другой не писали о конкретной проблеме, рассматриваемой в докладе, — восприятию Победоносцева творческой интеллигенцией, то я напрямую их не цитировал.

Настаиваю ли я на том, что Победоносцев — реакционер, если о нем были отзывы, как о консерваторе? Не настаиваю. Я использовал слово «реакционер», имея в виду, что так именовали Победоносцева представители леволиберальной и радикальной интеллигенции. А для них понятия «реакционер» и «консерватор» в равной степени несли негативную нагрузку. Полагаю, что Победоносцев в чем-то был консерватор (так, он отрицательно относился к любому, в том числе реакционному изменению административных структур), а в чем-то реакционер — в вопросах, связанных со свободой совести, свободой слова он занимал очень жесткую позицию.

Считаю ли я достаточным иконографический ряд, представленный в приложении к тексту? Конечно, это *minimum minimumum* того, что необходимо для понимания проблемы. Этот ряд можно расширить, добавив, в частности, карикатуры, в которых так или иначе варьировались зловещие черты облика Победоносцева. Но основное, полагаю, я дал.

Еще один вопрос: я рассматриваю, как воспринимали Победоносцева представители либеральной интеллигенции. А как его воспринимали консерваторы? По-разному. Те, кто видел Победоносцева вживую и обладал художественным даром, как В.В. Розанов, воспринимали его как достаточно глубокую, неоднозначную фигуру. Те, кто с ним лично не встречался или встречался, но не очень хорошо его понял, относились к нему довольно скептически, считая, что установка Победоносцева на опрошенчество делает его несколько пассивным, заставляет бояться решительных мер. Так, Тихомиров критически отзывался о Победоносцеве. Известна также фраза К.Н. Леонтьева об обер-прокуроре, что это страж, мороз, безвоздушная гробница, старая невинная девушка и ничего более. Иными словами, отношение консерваторов к Победоносцеву могло быть достаточно негативным.

Отличалось ли восприятие Победоносцева западными журналистами от его восприятия российской интеллигенцией? И было ли различие в восприятии Победоносцева церковной и светской интеллигенцией? Отношение к Победоносцеву людей с Запада, не столько даже писателей, а дипломатов, путешественников, государственных деятелей, — это чрезвычайно интересная тема. «Западники» очень интересовались Победоносцевым на рубеже веков, а их отношение к нему повторяло логику восприятия многих представителей русской творческой интеллигенции, но, наверное, не потому, что эта интеллигенция питалась западными «токами». Скорее действовал схожий психологический механизм. До людей доходили слухи о «страшном реакционере», затем они видели этого человека с пугающей внешностью, а потом начинали с ним говорить и попадали под обаяние незаурядной личности, человека, безусловно мыслящего и образованного.

Конечно, когда действительный тайный советник Российской империи начинал цитировать английских поэтов Озерной школы, западных путешественников это поражало. Этим также порождалась неоднозначность восприятия.

К.Н. МОРОЗОВ: Д. Орловски заметил, что неясным остался вопрос, существовала ли единая субкультура и, собственно, что было важнее для революционеров — общие ценности или отличия. В общем-то, вопрос остается открытым

и неоднозначным. В разное время и в разных ситуациях превалировали то общие ценности, то отличия. Скажем, большевики, те же Ленин и Сталин, всегда педалировали отличия, и меньшевик Аронсон справедливо говорил о том, что истинная сущность большевизма — это ненависть. В годы Революции 1905–1907 гг., когда возникла настоятельная необходимость альянса революционных сил для борьбы с самодержавием, общие черты возобладали. Или, позже, когда большевики, захватив власть, пересажали социалистов и анархистов, те же меньшевики, которые до революции ругали эсеров и анархистов самыми черными словами, были вынуждены находить с ними общий язык на Соловках или в тюрьмах совместно бороться с общей тюремной администрацией. Так что это тема для очень длинного разговора.

Что касается того, почему я пользовался термином «единая субкультура как рамочная», то этот вопрос требует серьезного исследования, потому что там действительно надо серьезно анализировать, что, скажем, было у анархистов. У анархистов были очень серьезные отличия от социалистов. У социал-демократов и эсеров было много общего, а анархисты, например, в 1907 г. на этапах, на каторге просто натравливали уголовников на социалистов и говорили: «Вот это ваши враги, они сейчас в одной тюрьме с вами, а придут к власти, они вас будут сажать». И это уже показывает, что у них нет понимания «общей судьбы», общей цели, что это уже разные субкультуры.

По поводу некритического использования источника — цитаты гэдэушного происхождения о Зензинове — речь идет, конечно, о некотором недоразумении, недопонимании. В революционной среде существовали разные психологические типы, разного темперамента, и когда чекист говорит о Зензинове, что тот типичный нерешительный русский интеллигент, а еще смеет называть себя социалистом, это свидетельствует о том, что для большевиков нерешительность и интеллигентность — это тот признак, который уже не позволяет тебя считать революционером и социалистом. Это очень близко к анархистам — сначала стрелять, потом разговаривать. В революционной среде больше всего друг друга не могли выносить анархисты и меньшевики. И в Цюрихе, в Женеве в 1905 г. дрались как раз меньшевики и анархисты, потому что первые были склонны к разговорам и догматизму, имевшему в том числе и национальный отпечаток (среди них было много евреев во всех стратах партии), а у вторых преобладала решительность, хотя и у анархистов немало было людей той же национальности.

Вопрос В.Ю. Черняева о том, не впитала ли будущая экстремистская тенденция многое из того, что было в субкультуре российского революционера, воплотив это потом, соответственно, в ГУЛАГе, в партийных чистках и прочем. Да, конечно, впитала, но это лишь одна из тенденций, которые имелись в революционном движении. Такие люди, как Нечаев, Сталин, не исчерпывают всю революционную среду, революционные традиции, хотя они известны лучше. Но если вы прислушаетесь внимательно к Брешко-Брешковской, к Авксентьеву, к Каляеву, к Сазонову и ко многим другим, то вы увидите, что они иные. И если вы будете сравнивать Сазонова и Сталина, то найдете больше отличного, чем общего. Не случайно, что первая борьба с большевиками была начата как раз социалистами и анархистами и воспринималась ими болезненнее, потому что

белые — это законный враг, его, понятно, надо просто убивать. А бывший твой товарищ по общей партии, меньшевик, или эсер, или анархист, он еще воспринимался как изменник революции, как отщепенец, как своего рода нерешительный русский интеллигент.

Е.Е. ЛЕВКИЕВСКАЯ: Можно ли найти в изучении детских сочинений осознание причин происхождения революции? Нет, нельзя. Здесь можно вспомнить замечательное стихотворение Арсения Тарковского «Тогда еще не воевали с Германией...» В нем говорится о том, что «неведеньем в доме болели, как манией». Неведение — это лейтмотив детских текстов. Дети не понимают реальных причин революции, не понимают, откуда пришли большевики. Большевиков воспринимают не как внутреннюю социальную группу, которая родилась внутри русского общества ввиду каких-то социополитических ситуаций и конфликтов, а именно как внешнюю захватническую силу, что очень хорошо отображается в языке этих текстов. Они воспринимают дореволюционное состояние России как некий золотой век, как утраченный рай, который уничтожили большевики, пришедшие неизвестно откуда. Истинные причины революции никак не объясняются и не рефлексировуются.

Можно ли распространить понятие травмы на другие слои? Да, можно. У меня такой предыдущий опыт был, когда я анализировала крестьянские устные воспоминания о своей жизни, крестьянские автобиографии и дневники — тот слой, который мы называем «наивной литературой». Там очень хорошо эта тенденция видна — восприятие, интерпретация исторических событий через травматические события своей личной и коллективной биографии. О травматической памяти очень хорошо пишет Н.Г. Брагина в своей замечательной книге «Память в языке и культуре», изданной в 2007 г.

Хотела бы отреагировать на несколько категорический вывод, который вовсе не предусмотрен моим докладом: о том, что теперь мы понимаем, почему эти дети, выросшие к моменту Второй мировой войны, так относились к родине без симпатии. Я думаю, что здесь не надо обобщать, ситуация была гораздо более сложной. Вы все прекрасно знаете о делении русской эмиграции на «пораженцев» с лозунгом «хоть с чертом, но против Сталина» и «оборонцев» с их движением младороссов и знаменитым лозунгом из статьи Казем-Бека «Младороссы и война»: «Мы не красные, мы не белые, мы русские». Мой научный руководитель, академик Никита Ильич Толстой, принадлежал как раз к числу детей русской эмиграции, и 22 июня 1941 г. он, ребенок, выдворенный из своей страны, пошел в сербский партизанский отряд с оружием в руках защищать то, что было для него родиной, а в 1944 г., когда советские войска заняли Белград, он добровольцем вступил в Красную армию и до конца войны там воевал. Так что, еще раз говорю, не надо, пожалуйста, обобщать.

В.П. БУЛДАКОВ: На вопрос о том, не нашли ли себя потерявшиеся в годы НЭПа революционеры в период Великого перелома (А. Щербенок), думаю, следует ответить отрицательно. Мне кажется, деструкция революционной личности — необратимый процесс. Мог бы привести на этот счет немало примеров, в том числе из опубликованных источников. В известном многотомном сборнике

«Лубянка — Кремль» (в целом удручающем своей аналитической беспомощностью) приведен документ о том, как в 1930 г. окончательно спившийся рабочий демонстративно застрелился в красном уголке завода, на котором начинал свою весьма заметную в прошлом революционно-начальственную карьеру. Не менее характерно и то, что в 1920-е гг. для многих местных властей настоящей головной болью стали так называемые красные партизаны — эти революционные экстремисты по инерции готовы были воевать с кем угодно, включая новое коммунистическое начальство.

Особо хотелось бы обратить внимание на фигуру известного уральского террориста Г. Мясникова (Ганьки), организатора «стихийного» убийства Михаила Романова, одобренного задним числом Лениным и Свердловым. После Гражданской войны он «неожиданно» выступил с программой всеобщей амнистии. Это напоминает шигалевщину Достоевского — уничтожить всех врагов, чтобы немедленно осчастливить оставленных в живых. Затем неумный Мясников мыкался по большевистским тюрьмам, бежал за границу, где отчаянно пытался поднять на борьбу западных пролетариев, наконец, добился возвращения на родину, где и был расстрелян. Убийство во имя идеи сделало этого человека неспособным к нормальной жизни, хотя он имел и жену, и детей.

Конечно, для тех, кто делал революцию ради личных благ (а они составляли большинство), проблемы послереволюционной адаптации не существовало. Но в лице этой массы через «революционную субъективность» произошел жуткий откат назад — даже не к человеку традиционного общества, а к человеку стаи. Этот фактор проявил себя по-разному. В частности, бросается в глаза неожиданный для мирного времени всплеск антисемитизма.

Вопрос Н.В. Михайлова: в чем принципиальная разница между представителем революционной интеллигенции и стихийным революционером? На мой взгляд, стихийные революционеры не являлись представителями революционной субкультуры подполья, сложившейся в дореволюционное время. Они пытались «обрести веру» непосредственно в революции, через насилие; идея для них оказалась лишена онтологического обоснования. Именно поэтому постреволюционное время ударило по их психике куда основательнее, чем по жизненным установкам революционных интеллигентов.

На вопрос У. Розенберга о количестве писем, отобранных специально для Сталина, вряд ли может быть дан точный ответ: подсчет я не занимался, к тому же они рассредоточены по разным фондам. Применительно к рассматриваемому периоду их сотни, если не тысячи. Большинство писем перепечатано на машинке для удобства чтения. Меня особенно привлекли послания 1924—1928 гг. Для власти это было время выбора. Писали самые разные люди: от интеллигентов старой закалки до простых крестьян. Характерно, что немногие конструктивные предложения поступали именно от первых, особенно по части различных изобретений. Людей, довольных жизнью, не заметно ни среди первых, ни среди вторых — послания напоминают традиционные «слезницы». Отчаянных писем-исповедей коммунистов и революционеров, которые привлекли мое особое внимание, не столь много. Судя по всему, Сталина интересовали именно резко критические послания, включая анонимные. Для него явно отбирали письма, сигнализирующие об угрозе. Представляется, что в целом представленный

в этих письмах набор социальных тревог, страхов, ненависти впечатлил бы даже человека, отнюдь не склонного к паранойе. Связь между подобными текстами и феноменом сталинизма очевидна.

Л. Манчестер задала вопрос: не относится ли отмеченная мною суицидальность к обычному послевоенному синдрому? Несомненно, среди самоубийств 1920-х гг. были и поствоенные, характерные для любой отвоёванной страны. Однако, как известно, удельный вес самоубийств среди коммунистов и комсомольцев в это время на порядок превосходил среднестатистические данные. Именно этот феномен я и пытался исследовать.

М. ФЕРРЕТТИ: Вопрос о реакции других рабочих на арест Люлина я тоже себе задавала: почему они не бастовали? Мне кажется, не арестовывали Люлина именно потому, что боялись рабочих волнений. И об этом есть многие знаки. И почему потом, когда все-таки арестовали Люлина, они не бастовали? Во-первых, в декабре 1928 г. партия приказала очистить завод. В этот период еще была очень сильная безработица. Начинают увольнять, и это вселяло страх. После ареста Люлина его соратники предприняли попытку распространить на заводе листовку, очень, кстати, трогательную, я частично привела ее в тексте.

И есть еще один момент: когда ясно, что риск репрессий большой, а шанса на результат практически нет, это сильно сдерживает действия. Мне кажется, рабочая солидарность тогда выразилась тем, что рабочие помогали семье Люлина. Его жена уже была уволена. Это было первое средство давления на него, и он остался с безработной женой и тремя детьми в очень сложном положении. И еще мне кажется, что с конца 1920-х эти чистки идут постоянно. Как показал К.Н. Морозов, начинаются регулярные чистки. Из того, что я видела, чистки идут все 1920-е гг., и на других заводах тоже. Люди начинают понимать, что молчать безопаснее, даже если иногда они еще говорят очень интересные вещи.

Соловки очень часто упоминаются в 1920-е гг. Это только после 1936 г. они становятся запрещенной темой. В романе «Мастер и Маргарита», если помните, Иван Бездомный тоже упоминает о необходимости сослать Канта на три года на Соловки.

Меня спросили, почему, когда я пишу о партии, которая может как-то ломать это сопротивление, откуда я знаю, что они ломают, а не переубеждают? Потому что я видела материалы партархива. Я видела, как для райкома и горкома эти рабочие «Красного Перекопа» (бывшей Ярославской Большой мануфактуры) — большая проблема, и они сами боятся и ищут способы и агитаторов и так далее. И даже до 1932 г., после возвращения Люлина из ссылки, ему не позволили поселиться в Ярославле. ГПУ объясняло: его посылали под Вологду, работать на Севере, и он там с рабочими занимался антисоветской агитацией; если его вернуть на прежнюю фабрику, опять будут волнения. Значит, они это предприятие контролировали довольно плохо. И у меня есть материалы из фонда текстильщиков в ГАРФе, которые тоже позволяют создать целостную картину.

Насчет интерпретации, мне не кажется, что у меня это старая сталинская интерпретация. Если это упрек по поводу того, что я использую подход социальной истории — да, действительно, я его использую. Марксистский ли это подход,

я не знаю, я не знаю уже, что такое марксизм. Я увидела социальную конфликтность и попробовала с этого начать. Мне кажется, что это нельзя сводить к внутрипартийной борьбе. Мне кажется, и это вытекает не только из этой истории, но и из ряда других, что для рабочих была очень ценной идея о том, что «мы делали революцию» и «у нас украли нашу революцию». Очень часто встречаются комментарии «Нам нужна новая революция», «третья революция», очень часто, примерно так же часто, как и про Соловки, восклицание: «За что мы боролись? Нам не этого хотелось!»

И насчет репрессий. Действительно, репрессии идут с 1928 г., и идут по спирали — чистки, социальные репрессии, коллективизация, то есть начинается постоянный процесс чистки общества от всех, кто как-то мешает.